

**Владимир
МАЗАЕВ**

**БЕЗ СЛЕЗЫ.
ПО-ХРИСТИАНСКИ**



РАССКАЗ

Лодки живут долго, по крайней мере, могут сказать о лодке Антона Ивановича. Каждую весну, когда приезжаю сюда, я вижу её на берегу, на высоких подпорках. Около ходит Антон Иванович. Издали машу ему, забегаю в дом, здороваюсь с Анной Ильиничной, бросаю свой дорожный баульчик и, взволнованный, выхожу на берег.

Топольники, как всегда эту пору, захвачены паводком. Старые почерневшие деревья, раскинув кроны в осыпи ярко-красных серёжек, стоят в воде с мудрой отрешённостью; их тени на воде — их продолжение, только в другой плоскости.

Я жмурю глаза от чешуйчатого сверкания Кондомы, вдыхаю пахнувший мокрой горячей галькой воздух, бегу вниз к лодке.

Антон Иванович получил мою телеграмму и уже всё приготовил. Лодка просушена, на горбу днища разложены долота, скрученная в жгуты пакля, деревянные молотки. Рядом на низеньком тагане дымится в ведёрке вар.

Отстёгиваю от своей городской рубашки запонки, закатываю рукава, беру молоток. Узкие сухие доски весело гудят под нашими ударами.

Мои удары отрывисты и сбивчивы, Антон Иванович постукивает играючи, пакля входит в пазы легко, чисто. Поцарапанное взъерошенное днище пахнет тинной, таинствами речных глубин, романтикой путешествий.

Потом мы цедим в щели пузырящийся раскалённый вар. Я орудую утюгом, горло дерёт от дыма. Дым скатывается под лодку, долго качается там.

Покончив с днищем, устраиваем перекур. По днищу течёт агатовый блеск, оно похоже на спину гигантской снулой рыбы. Кондома опахивает лицо холодом. У берега вода тиха и степенна, ближе к середине стремительна — такое впечатление, что река пытается обогнать саму себя.

Противоположный берег высок, горбат, усыпан домиками деревни. Чернеют заплатки вскопанных огородов. По утрам за рекой многогласно мычит скот, тарыхтят моторы. Тонкие вилюшки дыма перечёркивают накаляющуюся кромку горизонта, — оттуда всходит солнце.

Антон Иванович неторопливо рассказывает зимние новости.

В Настином Логу поселилась семья лосей и, странно, — никуда не уходит. Перед весной к самому дому, от Глухой Курьи, повадилась ходить

***МАЗАЕВ Владимир Михайлович** родился в 1933 году в селе Васильчуки Алтайского края. Прозаик. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Автор более 20 книг прозы. Печатался в журналах «Звезда», «Москва», «Наш современник», «Сибирские огни», «Советская литература» (на чешском языке, Прага), «Огни Кузбасса». Участвовал в сборниках: «Рассказы. Молодая проза Сибири» (Новосибирск, 1968), «Сибирский рассказ» (Новосибирск), «Смотрю в твои глаза» (Кемерово, 1997), «Категория жизни» (Москва, 1985), «Набат сердца» (Москва, 1988), «Рабочий характер» (Пермь, 1987), «Зов» (София, 1979), «Сибирский рассказ» (Будапешт, 1980), «Белые города» (Мюнхен, 1991), «Венок славы», Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 томах (Москва, 1984).*

Член Союза писателей России. Живёт в Кемерово.

выдра. В аккурат, где мы сидим, на Рождество приземлялся вертолёт.

Лётчики — весёлые парни! — купили ведро огурцов и ведро медовухи и улетели по своему маршруту. Охотник Кусургашев выполнил несколько планов отлова соболя. Как ухитрился? Его секрет...

Новостей не много, все они похожего плана, но я слушаю с интересом. Для меня и Настин Лог, и охотник Кусургашев, и Глухая Курья — не отвлечённые понятия. В Настинном Логу я много раз охотился на зайцев. С сыном Кусургашева — Данилкой — дружил в детстве. А Глухая Курья тоже очень даже знакома. Мальчишкой я чуть не утонул в ней, попытавшись по способу воинов древнего Киева дышать в воде через тростинку.

Антон Иваныч лыс, но всё тёплое время года ходит без головного убора, оттого уже в мае голова его матова от загара и похожа на кегельный шар. Он в старой брезентовой куртке, резиновых сапогах с круглыми велосипедными латками.

Мы снова берёмся за лодку. Сталкиваем с подпорок, переворачиваем. К днищу изнутри присохла рыба чешуя. Антон Иваныч лезет в лодку, долго ощупывает укорини — дугообразные крепления, что-то бормочет. Две из девяти нуждаются в ремонте.

Снова стучим молотками, и первобытный стук этот отдаётся в душе ве-сенней музыкой. Солнце уже высоко, жжёт плечи; ветер холодит под мышками; всё настойчивей тянет от реки сырой галькой.

На брёвнышках скатываем лодку к воде. Дерево кричит, нос и корма покачиваются. Того и гляди хрустнет днище — всё-таки старушка пожила своё.

Антон Иваныч приносит из дому вёсла. Следом на берег выходит Анна Ильинична, дымком выются белые пряди. Она в цветастом фартуке и глубоких калошах на босу ногу. Я замечаю на левой такую же, как у мужа, круглую аккуратную латку. И вспоминаю: года два назад я приезжал с надувной лодкой и потом оставил старикам велоаптечку, вот и пригодилась...

Глядя на нас, копошащихся, Анна Ильинична певуче спрашивает:

— Ну как сёдни вода, надбыла или на мере´?

— На мере´, на мере´, — отвечает Антон Иваныч. Анна Ильинична щурится, вздыхает:

— Слава Богу, пора ей и угомониться. Откуда така прорва, прошлогод и то меньше было. Выбегла я как-то середь ночи, глядь — вода

баню подмывает, у меня сердце так и рухнуло... А после ничё, скатилася.

Наконец, всё готово. Я подбираю тонкую звенящую цепь и, поднатужившись, спихиваю лодку в воду. Лодка стремительно уходит от берега.

— Табань живеи! — кричит недовольно Антон Иваныч, стоя на берегу.

Прыгаю через скамейку, вставляю в уключины вёсла, торопливо взмахиваю ими — и всё равно не успеваю: кормой ударяюсь о дерево. Лодка гудит, в воду шлёпается кусок коры.

Не глядя на Антона Иваныча, смущённый собственной нерасторопностью, я разворачиваюсь и, задевая вёслами о стволы, плыву в глубину топольников.

Я плыву в топольники, небо надо мной густеет, перехлестнутое чёрными голыми ветвями. Ветер уходит в вышину, солнечные лучи буравят мутноватую глубину. Опахивает волной винный дух преющего дерева. Тут же уступает другому — горьковато-пьянящему запаху цветущего таволжника, которого отсюда ещё не видно. Эти запахи! Они пуце воспоминаний будоражат память, кружат голову. Я начинаю волноваться, бестолково верчусь — словно передо мной вот сейчас, сию минуту раскроется тайна, и я не переживу минуты, если упущу её.

Обгоняю запоздалую льдинку с вмёрзшими катышками заячьего помёта. Подмытая где-то в верховьях берёзка плывёт так давно, что уже выбросила, как флаг, зелёную веточку. На кусочке коры сидит пау-чок-крестовик, сгорбившись от горя. Осторожно задеваю кору веслом, паучок вдруг оживает, цепляется за весло, прытко бежит по веслу в лодку.

Я смотрю на неколебимые, как колонны, тополя. Чёрные в обхват стволы поклёваны льдом, заскорузли от времени, и трудно представить, что в них, как и в плывущей, оторванной от земли берёзке, гудит пробудившаяся жизнь.

Откуда в наших таёжных и боровых краях эти тополя, эта удивительная роща, растянувшаяся поймой реки на километры? Далеко за рощей, на уклоне Пургиной Гривы, высятся камни крепости, заложенной ещё сибирскими первопроходцами. Молва доносит: защищаясь от набегов джунгарской конницы, первопроходцы обнесли крепость вбитыми в землю кольями. Колья были из чёрного тополя и принялись, — с годами образовалась роща. Я верил в эту легенду в детстве, хочу верить в неё и сейчас, хотя опыт и подсказывает: тополя не могут жить так долго,

а молодой поросли здесь давно никто не видел.

Если завтра вскарабкаться повыше, в самый носок вон той рыжей скалки, то можно охватить взглядом всё — и синюю окрашенную тайгу, и блескучие кондомские разливы до горизонта, и подковку железнодорожного моста, и совсем вдали сломы крепостных стен, и «крыш корою» — приплюснутые кварталы старого города.

А ещё, коль напрячь слегка воображение, можно увидеть золото крестов и зелёные купола белокаменного храма, в котором когда-то венчался Достоевский.

Большая и трагическая любовь великого человека освятила эти дорогие моему сердцу окрестности. Вот что в такие минуты трогает и тихо, до горечи, изумляет, будоража память и этим врачует её. И забывается мудрый библейский совет хранить себя больше в молчании.

...Уездный Кузнецк, важный некогда форпост оборонной линии южной Сибири, слыл уже захоластьем, дремотной Азией, когда в него занесло ненадолго «унтера» Сибирского штрафбата Федора Достоевского, вчерашнего каторжника.

Занесло же его туда «грозное чувство» к молодой женщине, белокурой красавице Марии Исаевой. И «занесло» как нельзя вовремя.

Позднее он признается безжалостно в письме другу: «Я увидел её! Что за благородная, что за ангельская душа. Она плакала, целовала мои руки, но она любит другого... Я провёл не знаю какие два дня, это было блаженство и мучение нестерпимые! Её сердце опять обратилось ко мне. Она мне сказала: «Не плачь, не грусти, не всё еще решено; ты и я, больше никто!» Я уехал с полной надеждой... Письмо за письмом, и опять я вижу, что она тоскует, плачет и опять любит его более меня!..»

Но вот, наконец-то, (наконец-то!) всё позади. И ненавистный мундир штрафника с красными погонами и красным тугим воротником. И унижительное (при его-то феноменальной мнительности!) соперничество с «мальчишкой», учителем приходской школы Вергуновым. И победа над ним! И мучительные поиски денег на свадьбу. И «пышное», многолюдное венчание в Одигитриевской белокаменной церкви, где «шафером по жениху» был не кто иной, как сам «соперник», учитель Вергунов (невероятно, необъяснимо, но факт). И долгожданный, поистине выстрадан-

ный отъезд в Россию.

Когда же, умиротворённый и счастливый, едет он в купленном им тарантасе с дремлющей на его плече женщиной — женой, шепча: «Великодушная моя! Нежданная моя освободительница!», — он, знаток человеческой души и прорицатель, недавно ещё утверждавший, что «у женщин чувство берёт верх даже над очевидностью здравого смысла», он не знает, не догадывается, что в каких-то вёрстах позади, тем же ходом, следует «побеждённый». И что жена тайно шлёт ему записки: где они остановятся, где заночуют...

Эта жалкая комедийная коллизия находит продолжение в Твери, где Достоевскому разрешено было житье. А позже во Владимире...

Марья Дмитриевна уже серьёзно страдает нездоровьем. Несмотря на это, супруг её вынужден часто и подолгу отлучаться в Санкт-Петербург по своим литературным делам. Немного позднее — и за границу, лечиться гостейскими водами и морскими купаниями (от эпилепсии).

В один из хмурых осенних дней, возвратившись из очередной длительной поездки, он чуть ли не в дверях комнаты, где лежит больная жена, сталкивается лоб в лоб с... учителем Вергуновым!

Можно себе представить изумление супруга. Его великое потрясение и его праведный гнев!

Взбешённый, на грани эпилептического припадка, вбегает он к жене.

Та сразу поняла — случилось ужасное...

Какие слова находит он, непревзойдённый словотворец? Что та, которую он с малолетним сыном увёз от нищеты, от «поганого общества», от вечного прозябания в захоластной дыре, — размазала его как тряпку? Что сам он — жалкий слепец, считавший её преданной, подвенечной женой? Неужели это о ней, боже мой, о ней, страстно любимой, писал он, ещё живя в Семипалатинске: «Вдруг слышу, что она дала слово другому, в Кузнецке, выйти замуж... Я был поражён как громом, я заметался, упал в обморок и проплакал всю ночь... Я погибну, если потеряю своего ангела: или с ума сойду, или в Иртыш»...

А что же виновница этого некогда действительно «страшного, грозного чувства»? Чем могла ответить ему она, уже неизлечимо больная, только что простившаяся с любимым человеком, который любил её — отчаянно и безнадежно — до последних её земных дней? Схитрить? Заломить руки в горьком покаянии? Пасть на колени?

Она была умной, горделивой, «с недюжинным интеллектом женщиной, не умевшей говорить против своего сердца» (слова Достоевского).

И она — не то защищаясь, не то нападая, а скорее — от смертель-но-невыносимой зятяности узла, бросала ему в его искажённое «нервную болью» лицо: «Да, я полюбила его! ...до нашего ещё венчания! И ты об этом знал!.. Если бы не нужда проклятая... руку толкнула... принять твоё подаяние!.. У тебя нет сердца! Ни одна порядочная женщина не могла бы полюбить бывшего преступника!.. Ты не человек — дьявол...»

Прижав к вдруг зарозовевшим губам платок, она повалилась на подушки.

А его, задохнувшегося от горловых спазм, обожгло страшным ощущением — он снова на Семёновском плацу, на эшафоте, привязан к столбу, в глазах чёрная, могильная духота савана, и щелчки в морозном воздухе взводимых ружей отщёлкивают ему его последнюю предсмертную минуту...

В своей книге воспоминаний об отце дочь Достоевского пишет: «С растерзанной душой он слушал безумную исповедь жены... Он был охвачен ужасом перед Марьей Дмитриевной, покинул её и бежал в Петербург, где искал утешения у брата Михаила... Ему было сорок лет, и он ещё не был любим...»

И тут припоминается — и совсем некстати! — что в это самое время у него полыхает эмоциональнейший, на грани фола, роман с юной взбалмошной «нигилисточкой» Полинькой Суловой, начинающей писательницей, из романтического заграничного путешествия с которой он только что вернулся (и которая, к слову, опубликует в своё время книгу «Годы близости с Достоевским»).

Вот парижское письмо Достоевского затронутой поры — к Варваре Дмитриевне, старшей сестре его жены: «Напишите мне, голубчик, о всём, что знаете и что услышите о Марье Дмитриевне. Беспокоюсь я ужасно и сердечно о её здоровье. Дай ей бог лучшего!..»

И следом, уже из Турина (сентябрь 1863 года), горькое сетование брату Михаилу на то, что в очередной своей встрече с рулеткой он «проигрался весь, совершенно, дотла». На что брат Михаил довольно логично ответил ему: «Как можно играть дотла, путешествуя с тем, кого любишь?» (Хотя мог бы, кажется, позволить себе по-братски съязвить: «...и когда дома больная в чахотке жена...»)

Комментировать сие я не в силах, ибо «прильпе язык к гортани моей»...

15 апреля 1864 года Достоевский — Михаилу: «...Вчера с Марьей Дмитриевной сделался решительный припадок: хлынула горлом кровь и начала заливать грудь и душить... Все мы были около неё. Она со всеми простилась, со всеми примирилась, всем распорядилась... умирает тихо, в полной памяти...»

И в тот же день, вечером:

«Милый брат Миша, сейчас, в 7 часов вечера, скончалась Марья Дмитриевна и всем вам приказала долго и счастливо жить (её слова). Помяните её добрым словом. Она столько выстрадала теперь, что и не знаю, кто бы мог не примириться с ней...»

Так вот. Сдержанно. Без слезы. Смирненно. По-христиански.

У ВЕЛИКОГО человека и семейная драма умеет быть ВЕЛИКОЙ...

